литературах, наряду с отсутствием интереса западных литераторов даже к мэтрам русской литературы, оказавшимися в эмиграции, позволяет говорить о ситуации «взаимного отчуждения» русской эмиграции и западной культуры. И. А. Бунин развивает в своем творчестве концепцию Памяти, не обращая внимания на параллельное развитие идеи у М. Пруста и Дж. Джойса, французские знаменитости платят ему ответным невниманием (ситуация не меняется даже после присуждения Бунину Нобелевской премии). Шестидесятничество в Союзе, отмеченное повальным увлечением американской литературой (прежде всего творчеством Э. Хемингуэя), оттенено отсутствием какого—либо интереса к эксперименту американской прозы у русской эмиграции в США, издающей основные эмигрантские журналы. Ответное невнимание американцев тут уже куда менее удивительно. И наконец, невидение друг друга, ставшее нормой для эмигрантов третьей волны и западных литераторов 1970—80-х (связанное, возможно, с разным пониманием задач литературного творчества: трудно представить себе Кена Кизи сотрудником радиостанции «Свобода»). Все эти примеры свидетельствуют о том, что феномен «взаимного отчуждения» вряд ли объясним техническими случайностями — незнанием русскими иностранных языков и мировой литературы, замкнутостью того или иного литератора, низким литературным уровнем второй и третьей эмиграции. Его смысл, по-видимому, укоренен в особенностях национального менталитета той и другой стороны, в истории взаимоотношений России и Запада, в глубинных особенностях русской и западных культур. Этот вопрос, уже затрагивавшийся в некоторых работах по истории культуры, требует непредвзятого подхода и пристального изучения. Ответ на него, без сомнения, будет чрезвычайно важен как для культурологических дисциплин, так и для дисциплин, связанных с национальными психологиями и геополитикой. Ответ этот также предложит новый ракурс для сравнительного литературоведения новейшего периода.

Итак, изучение литературы русской эмиграции должно быть целостным и контекстуальным. Те небольшие успехи, сделанные в области изучения литературы русской эмиграции в последнее десятилетие, — лишь отдельные пятнышки на фоне неизученного пласта «другой», второй русской литературы двадцатого столетия.

© Пращерук Н. В.
г. Екатеринбург

ЖИЗНЬ — СЛУЖЕНИЕ, СМЕРТЬ — ОБРЯД (О РАССКАЗАХ А. ЧЕХОВА «АРХИЕРЕЙ» И И. БУНИНА «ХУДАЯ ТРАВА»)

Названные произведения традиционно рассматриваются в контексте повести Толстого «Смерть Ивана Ильича» как открывающей в литературе этого периода тему последних дней человека, переживания им приближающейся смерти. Не случайно сам Бунин в одном из писем 1913 года назвал «Худую траву» «мужицкий Иван Ильич». Однако пафос повести Толстого несколько иной: художнику важнее всего было раскрыть горький процесс осознания героем того, что «он прожил свою жизнь не так, как должно было», и сейчас, в настоящем, у него нет ничего, что могло бы его утешить и потому ему так нелегко примириться с наступающей смертью.

В произведениях Чехова и Бунина во многом другие акценты, их герои с самого начала переживают свое состояние болезни и близкого ухода как освобождение, как возвращение к самим себе, к подлинным основаниям жизни. При этом рассказы обнаруживают очевидное типологическое сходство, хотя при первом рассмотрении представляются трудно сопоставимыми: слишком уж «различны меж собой» герои — бунинский простой мужик, «батрак у жизни» Аверкий и человек, достигший высокого церковного сана — архиерей, преосвященный Петр у Чехова. Сходство обусловлено не просто совпадением сюжетной ситуации, речь идет о глубинной перекличке мотивов, о структурной близости этих вещей.

Бунин хорошо знал чеховский рассказ, считал его лучшим из написанного художником, с горькой иронией замечал в своей книге о Чехове, что «Архиерей» «прошел незамеченным». Композиционно «Худая трава» почти повторяет чеховский текст: с самого начала рассказ организуется точкой зрения героя, его мировосприятием, его переживаниями. Повествователь максимально приближен к нему, находится «внутри» его пространства, «заражен» его состоянием и достоверно передает его ощущения от окружающего мира, окружающих людей. При этом повествование от 3—го лица создает дистанцию между героем и повествователем, что позволяет художникам с помощью целой системы мотивов, соотнесенных с национальной и общекультурной традициями, блистательно перевести переживаемое героями в общий символический контекст. Это отличает и чеховское и бунинское повествование от толстовской техники постепенного «приближения» к герою, поэтапного вхождения в его внутренний мир. И в том и в другом рассказах подчеркивается автономность главного героя, контраст между ним и другими. Типологически близки и системы персонажей произведений, так сходную функцию по отношению к главному герою выполняют чеховские Мария Тимофеевна, Сисой, Катя и бунинские жена, Анюта, внучка.

Можно заметить в «Худой траве» реминисценции из Чехова, текстовые переклички с предшественником, сходным образом организованные эпизоды, например, первый разговор архиерея с матерью (начало гл. 2) и разговор Аверкия с женой (начало гл. 4).

Очевидна также в том и другом рассказах прямая соотнесенность ситуации близкой смерти, переживаемой героями, с религиозным календарем. Праздник апостолов Петра и Павла стал рубежным для Аверкия («Аверкий слег, разговевшись на Петров день»), владыка Петр заболел накануне Вербного Воскресенья и умер в Великую Субботу. Любопытно, что имя архиерея в миру — Павел («Павлуша, сыночек» — ласково называет его мать перед смертью). И рассказы, действительно, объединяются темой служения, жизни как служения. И это приложимо не только к чеховскому герою, который служит в прямом смысле — ведет церковные службы (эта тема усилена Чеховым еще и тем, что архиерей принадлежит к черному священству и живет в монастыре). Вечное мужицкое дело воспринимается Аверкием и автором «Худой травы» подобным образом: «...Служил тридцать лет... а теперь шабаш, ослаб...»; «И он все радовался первое время: вот он и дома, отслужился!» Тема жизни как служения поднималась Буниным в этот период и в других рассказах («Лирник Родион», «Хороших кровей»).

Служение предполагает добровольное подчинение человеческого «я» общему и иерархическому порядку жизни, ее законам и традициям, сокровенную согласованность с ними. В Аверкии автору дорога его глубинная «природность», органичная подчиненность природному ритму. Поэтому не случайно, заболев в середине лета,

он словно проходит вместе с окружающей природой все стадии «умирания» и уходит из жизни с наступлением зимы: «И еще месяц прошел, и приблизилось время принести этот горький и сладкий оброк Богу…Умирая, высохли и погнили травы…»; «Умер он в тихой, темной избе, за окошечком которой смутно белел первый снег…» Чтобы подчеркнуть особую органику существования героя в природном мире, Бунин показывает его великую и удивительную способность почувствовать себя в конце пути всего лишь «худой травой»: «Худая трава из поля вон, — пошутил Аверкий. — А чую — конец. Чую — *она* (курсив — авт.)

Если Аверкий «живет» в природе и подчиняется природному ритму, то владыка Петр «принадлежит» храму, воплощающему для него весь мир и самого себя в этом мире[1]. И в этой принадлежности и подчиненности общему порядку того и другого героя также много сходного. Не случайно чеховский мотив открывающихся дверей (символически в контексте рассказа воспринимается, казалось бы, бытовая сцена, когда «хлопнула дверь: вошел…келейник» со словами: «Лошади поданы, **пора к страстям Господним**» (выделено мной — *Н. П.*)) своеобразно дублируется Буниным повторяющимся мотивом открытых ворот. Открытые ворота в «Худой траве» — не только знак перехода и приближающейся смерти, но и знак особой включенности героя в природный мир («Весело и молодо глядело в ворота голубое, по горизонту оранжевое небо» и т. п.). И Аверкий и чеховский Петр не мыслят себя самодостаточными единицами, поэтому, умирая, бунинский герой словно «растворяется» в природе, а чеховский — «остается» в звонах колоколов, церковных службах, «остается» в храме. И это самое главное, что сближает героев. Смерть бессильна перед человеком, жизнь которого становится служением. Обращение к образам святых Петра и Павла в обоих рассказах позволило художникам не только акцентировать тему жизни как служения, но и особым образом подчеркнуть высокую оправданность, праведность такой жизни. Не случайно, по народным представлениям, «врата рая» в потустороннем мире охраняют именно святые Петр и Павел[2]. Другое дело, что Бунин, продолжая тему чеховского архиерея, намеренно переводит своего героя в природно—космический план, по-иному решает проблему его человеческой принадлежности общему и мировому.

Примечания:

1 См. об этом: Доманский Ю В. Статьи о Чехове. Тверь, 2001. С. 23—31.
2 См.: Славянская мифология. М., 1995. С. 119.

© Рогачева Н. А.
г. Тюмень

ОДОРИСТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Поэтический мир М. Цветаевой не богат запахами. Именно такое впечатление возникает у читателя, возможно, потому, что одористические мотивы никогда не становились предметом рефлексии самого поэта, в отличие, к примеру, от акустического или визуального аспектов поэтической образности. И все же не случайно в одном из писем Б. Л. Пастернаку М. Цветаева говорит: «… Я не слепой: вижу, слышу, чую, вдыхаю *все*, что полагается»[1]. Ее «роман с воздухом» [6/1: 25], начавшийся в юности, был весьма продолжителен и закончился, как известно, в традиции